

П.А. ВЯЗЕМСКИЙ И В.А. ЖУКОВСКИЙ В 1830–1852 гг.: ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСКИ)

Исследование проведено в Томском государственном университете за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00083 «Русская эпистолярная культура первой половины XIX века: текстология, комментарий, публикация»).

На материале подготовленной к изданию взаимной переписки П.А. Вяземского и В.А. Жуковского реконструируется история личных и творческих контактов двух выдающихся представителей русской литературы. Определяется место переписки в эпистолярном наследии П.А. Вяземского и В.А. Жуковского и характеризуется тип их дружеских отношений. Выделяются основные этапы общения, обусловленные биографическими обстоятельствами корреспондентов, обозревается диалог литературно-эстетических и общественных взглядов на протяжении 1830–1852 гг.

Ключевые слова: В.А. Жуковский; П.А. Вяземский; переписка; личные отношения; биография; творческие отношения

Настоящая статья продолжает экскурс в историю личных и творческих отношений двух выдающихся представителей русской литературы золотого века, предпринятый в нашей предыдущей статье «П.А. Вяземский и В.А. Жуковский в 1807–1829 гг.».

Переписка Вяземского и Жуковского 1830–1841 гг. (до отъезда последнего в Германию) невелика по объему (чуть более 60 писем) и имеет эпизодический характер, поскольку в основном велась в периоды путешествий или разлуки двух корреспондентов. Несмотря на то что оба писателя продолжали активно заниматься литературной деятельностью и сотрудничали в периодических изданиях, эта сфера в письмах оказалась существенно потеснена другими жизненными проблемами. Вяземский впервые оказался погружен в стихию повседневной чиновничьей службы, ирония над ней не оставит его и позднее, в 1840-е гг. Служба началась не сразу, поскольку, проведя в Петербурге весну 1830 г., князь 3 июня получил серьезную травму, выпав из коляски и повредив ногу. «Мне полегче, то есть менее или почти вовсе не страдаю, но все-таки не легче, потому что ходить не могу и сижу невольником в своих креслах» [1. С. 389], – писал он Жуковскому 9 июня. Для лечения потребовалась реабилитация и пребывание на водах в Ревеле (см. письма Жуковского от 10–12 июля 1830 г. [2. Л. 27–27 об.] и Вяземского от 14 июля [3. Л. 122]), а затем устройство домашних дел, совпавшее с наступлением холерной эпидемии в Москве (осень–зима 1830 г.) и в Петербурге (лето 1831 г.). Только в 1832 г. Вяземский окончательно перебрался в столицу, где 21 сентября был назначен вице-директором Департамента внешней торговли, осенью этого же года в Петербург переехала и его семья, ранее остававшаяся в Москве.

Своими домашне-служебными впечатлениями князь поделился в письме от 11–13/23–25 декабря 1832 г.:

Я сделан вице-директором нашего департамента и из вице-мужа стал действительный муж и отец семейства. Все мои здесь на житье. <...> По публике довольно хорошо; жену и Машу приняли в обществе довольно гостеприимно и милостиво, но все это сухо и холодно, как все и вся. <...> Ты спросишь у меня, что я делаю? <...> Сижу по несколько дообеденных часов в своей вице-директорской келье, подписываю

иногда до четырехсот раз имя свое, так что меня тошнит от него. <...> А вот у меня сюжет для послания к Овидию. Я на днях подписал книг с тридцать для Овидиопольской таможни. Это продолжение превращений. Овидий передает имя свое таможне, а я, то есть имя мое, сблизается с его именем по поводу конфискаций (и рифма *граций*) и штатных сумм (и рифма *дум*) [1. С. 364, 367].

Адаптация на службе¹ и в светской среде, впрочем, прошла вполне успешно, 5 августа 1831 г. Вяземский получил звание камергера², был принят членами царской фамилии, чьи приветы передавал Жуковскому в письмах 1833 г. Однако и здесь не обошлось без сложностей. В 1833 г. Вяземскому случилось пошутить по поводу петербургского военного генерал-губернатора П.К. Эссена, возведенного в графское достоинство в тот год, когда в Петербурге участились пожары. Вяземский отметил, что «следовало бы по справедливости его пожаловать не графом, а князем Пожарским» (гр. П.А. Толстой – А.А. Муханову, письмо от 12 июля 1833 г. [6. С. 191]). Шутка стала известна императору и привела к тому, что Николай I отказался присваивать Вяземскому следующий ему по службе чин. Вяземский записал: «По приглашению графа Бенкендорфа явился я к нему сегодня 8 числа августа в 11 часов утра, и он объявил мне от имени государя, что государь не утвердил представления обо мне за то, что при пожаловании Эссена графом, сказал я, что напрасно не пожаловали его князем Пожарским» [7. С. 330]. Более того, император высказал сомнение в целесообразности пребывания Вяземского на государственной службе. Вяземский смог добиться своего оставления на службе лишь ценой униженного письма А.Х. Бенкендорфу [8], о котором и Жуковский писал в конце апреля 1834 г.: «Вчера ввечеру у меня был разговор с Бенкендорфом о тебе. Я сказал ему, что у тебя готово к нему письмо. А он, с своей стороны, изъявил готовность показать это письмо государю. Итак, приготовь письмо и не откладывай в длинный ящик. Одно замечание: нужно ли то, что ты говоришь в конце письма? Ты даешь чувствовать, что подобные прорухи могут с тобою и вперед случаться, но что никогда не будет злого намерения» [2. Л. 5–5 об.].

Однако самыми трагическими событиями в жизни Вяземских стали смерти от туберкулеза двух

дочерей – Прасковьи в 1835 г. и Надежды в 1840 г. Полная хроника путешествия в Германию и Италию для лечения Прасковьи отразилась в письмах Вяземских к сыну Павлу, учившемуся в пансионе, к Карамзиным и Жуковскому, присматривавшим за ним [9. Р. 265–309]. Жуковский принял в горе друга искреннее участие – помогал со сборами в дорогу (июнь-июль 1834 г.), предложил услуги опытных немецких врачей, хлопотал о продлении отпуска Вяземского (декабрь 1834 г. – январь 1835 г.). Когда заболела другая дочь, Жуковский находился в Германии, сопровождая цесаревича и уча русскому языку его невесту. Переписка 1840 г. между Баден-Баденом, где обосновались В.Ф. и Н.П. Вяземские, и Франкфуртом-на-Майне, где жил Жуковский, с одной стороны, и Петербургом, где остался Вяземский, – с другой, наполнена перипетиями неудачного лечения в Киссингене и попытками исправить его последствия в Бадене, на что наложились бедствия в поместьях Вяземских – пожары и голод, невозможность князя выехать к родным. Помощь Жуковского мало что могла исправить. Вяземский же воспринял новый удар с неожиданной для друга стойкостью, о чем свидетельствует дневниковая запись от 9 декабря 1840 г.: «Письмо <...> от княгини Вяземской. Послал за Валуевым (у меня Иоакимф); к Карамзиной и с К<атериной> А<ндреевну> к Вяземскому. Его холодность при получении вестей; феномен души замечательной. Плач Павлуши. У меня самого есть что-то каменное в сердце» [10. С. 230]. Сборы самого Жуковского в Москву для последнего свидания с друзьями и родными перед отправлением в Германию соединились с переживанием за друга, как в письмах от декабря 1840 г. и января 1841 г.:

Что делается теперь в тюрьме твоей души, в которую ты так накрепко заперся с своим тюремщиком, безотрадным горем. Выложи его хоть на письме. Говорили мы друг с другом мало – и что и как говорить? Утешать тебя и нечем, и я бы не стал, если бы и нашел какой-нибудь palliatif³. Но именно твоя душа, которая способна и рваться, и негодовать, в свой час и возвысится на тот возвышенный пункт горы, с которого виден величественный, широкий горизонт и не подозреваемый теперь в том глубоком дольном ущелье, по которому бредешь, больной, усталый, безнадежный и окруженный со всех сторон мраком [2. Л. 62] (16 января 1841 г.).

Домашняя жизнь Жуковского отразилась в переписке достаточно скупой: пребывание в Царском Селе холерным летом 1831 г. («Вы хлопчете о том, не съела ли меня холера? Нет! не съела! Жив, жив курилка! Еще не умер! Да и, кажется, не дойдет до меня очередь!» [11. С. 255], начало августа; «А мы здесь с Пушкиным пописываем и заглядываем по вечерам к Россети» [2. Л. 59], 23 августа); морской путь до Любека (24 июня / 6 июля 1832 г. [12. Л. 1–2]), лечение в Швейцарии и Германии в 1832–1833 гг., наполненное заботами о здоровье, двумя хирургическими операциями, таможенными хлопотами, и короткий вояж в Италию («Здравствуй, милый, я кончил свой бег по Италии и вот уж неделя, как возвратился на берега Женевского озера, усталый, но здоровый и набитый, как тюфяк, впечатлениями всякого рода,

которые теперь слишком во мне теснятся, чтобы выйти порядком на волю» [2. Л. 39], 12–15/24–27 июня 1833 г.); поездка в Эллисфери в июне-июле 1836 г., а затем два визита в Москву в ноябре-декабре 1837 г., после завершения путешествия по России с цесаревичем, и январе-феврале 1841 г., накануне женитьбы.

Переезд Вяземского в Петербург способствовал возникновению того, что получило название «литературная аристократия»⁴. В письмах к Жуковскому конца 1828–1829 гг. князь вполне отчетливо определил своих литературных противников, из лагеря которых, в том числе, исходил донос о его «развратном поведении» [14]. В докладных записках Ф.В. Булгарина также фигурировала «партийная» тема: круг литераторов, близких ко двору, как он представлял, собирався влиять на общественное мнение [15. С. 104–114, 192–196, 205–206 и др.]. Подобное мышление категориями партии, «своего круга» во многом определило формат литературного процесса 1830-х гг. и совместное участие в нем Вяземского и Жуковского. В статье, опубликованной в «Литературной газете», князь так определил позицию «литературной аристократии», в которую включал своих друзей: «Союз людей, возвышенных по своим дарованиям и нравственности» [16. С. 111]. Эта полемическая терминология отозвалась и в письме Жуковского от начала сентября 1830 г.: «Да перестань связываться с Полевым. <...> Я еще не заглянул в нужник его второго тома, но читал невзначай его объявление в “Телеграфе” и выходку против аристократов литературы. Досадно, что газета ваша не удержалась и вступила в бой с этими замаранными пролетериями так называемой русской литературы. Пользы нет, а вы позапачкались» [2. Л. 32–32 об.].

Равная заинтересованность друзей в развитии «высокой» литературы, в пропаганде европейского просвещения не отменяла разницу темперамента: Вяземский выступил активным участником «Литературной газеты» и затем «Современника» [4. С. 186–201, 231–258], автором публицистических и полемических материалов; Жуковский, сосредоточенный на воспитании великого князя Александра Николаевича, в журнальной деятельности участия почти не принимал, но был «домашним» организатором жизни пушкинского круга – через свои «субботы», на которых собирались петербургские литераторы, через свои разветвленные дружеские контакты.

В переписке эта сторона взаимоотношений отразилась не очень широко, уйдя в повседневное общение. Самой важной ее частью стало заступничество за друзей, способствовавшее сплочению «своего» круга. Так, в 1830 г. Вяземский и Жуковский старались защитить С.Н. Глинку (см. их письма от 3 сентября [17. Л. 44–45 об.] и начала сентября [2. Л. 32–32 об.]), который по представлению куратора Московского университета князя С.М. Голицына был отставлен от должности цензора за допуск к печати в «Московском телеграфе» фельетона «Утро в кабинете знатного барина», в коем увидели указание на князя Н.Б. Юсупова. Попытки отменить эту отставку, обратившись к министру просвещения К.А. Ливену, к успеху не при-

вели, что поставило С.Н. Глинку в очень тяжелое положение, в результате он решил переехать в Петербург, где Жуковский старался оказывать ему помощь. В 1832 г. оба друга выступили активными ходатаями перед А.Х. Бенкендорфом и императором за И.В. Киреевского, чей журнал «Европеец» оказался закрыт [18. С. 120–135; 19]. В начале 1841 г. Вяземский будет узнавать, не означало ли это для И.В. Киреевского запрета заниматься журнальной деятельностью вообще: «Сделай одолжение, узнай, получил ли Киреевский письмо мое (через Шевырева посланное), в котором извещаю его, по собранным здесь справкам, что ему не возбраняется писать и печататься» [17. Л. 88–89] (24 января). Весной 1834 г. Жуковский и Вяземский хлопотали перед министром просвещения С.С. Уваровым о месте профессора для М.А. Максимова в создаваемом Киевском университете. Вместе с ним ехать в Киев собирался Н.В. Гоголь, обсуждавший эти планы в письмах к нему от декабря 1833 – марта 1834 г. [20. С. 288–289, 291–292, 296–298, 301–302]. Хлопоты увенчались успехом, и 4 мая 1834 г. состоялось назначение М.А. Максимова. Позднее, в октябре 1839 г. Жуковский просил Вяземского поддерживать его альманах «Киевлянин» [21. С. 39]. В июне 1834 г. друзья пытались помочь смертельно больному Н.М. Рожалину, вернувшемуся в Петербург из-за границы (письма Вяземского от 14 и 15 июня [1. С. 374–375; 21. С. 109]). В 1835 г. поддержка потребовалась А.И. Тургеневу, который работал по поручению правительства во французских архивах и просил друзей получить одобрение его трудов от князя А.Н. Голицына, благодаря чьей помощи был командирован в Рим и Париж. В октябре-ноябре 1837 г. предметом совместных забот выступило литературное наследие И.И. Дмитриева, чья смерть вызвала скорбную рефлексию Жуковского в письме от 30 октября:

Карамзин и Дмитриев, около них сосредотачиваются все те дни, в которые и мы сами как-то были лучше и все около нас было лучше. Пустоты, которая после них в нашем быту осталась, ничем не наполнишь. Первый визит мой в Москве был на погребенье – уже не предсказанье ли это какое? Уж и меня не придется ли вам хоронить в нынешнем году? Оно было бы и к стати: представитель лучшего старого времени и литературе и представитель лучшего нового времени (А.С. Пушкин. – В.К.) сошли со сцены; я стою в промежутке, как будто ни на что не опираясь – поневоле надобно повалиться [22. С. 43].

В 1840 г. за помощью в нахождении места чиновника в Москве обратился поэт-сибиряк Е.Л. Милькев, с которым Жуковский познакомился в Тобольске в ходе путешествия по России с цесаревичем в 1837 г. и которому покровительствовал после его переселения в Москву в 1838 г. (письмо Вяземского от 17/29 августа 1840 г. [17. Л. 84–87 об.]).

Наконец, отдельной темой стали дела «Современника», где в 1836 г. Вяземский был посредником в доставлении материалов от А.И. Тургенева. Так, 29 июня князь сообщал Жуковскому: «Тургенев написал нам ругательное письмо, и тебе также, за напечатание “Хроники” его, и требует, чтобы впредь ничего его не печатали, что и остановило выход “Современника”, в котором уже была отпечатана большая статья

из него» [1. С. 380–381]⁵. После смерти А.С. Пушкина заботы по продолжению журнала легли на плечи друзей, которые в письмах 1837 г. активно обсуждали состав номеров и дальнейшую судьбу издания (письма Жуковского от конца марта [24. Л. 15–16] и 10 ноября [2. Л. 48–48 об.] и Вяземского от 3 и 23 ноября [1. С. 381, 381–383]). 3 ноября Вяземский даже предлагал: «...я охотно бы взялся за этот журнал с кем-нибудь пополам. Вероятно, ты мог бы выпросить эту милость у государя. Тогда нужно было бы придать к главному “Современника” другое, *ретроспективное*, придумав что-нибудь, и я всю мою *старину* стал бы тут печатать. Подумай об этом и уведомя о том, что придумаешь. Главное дело: положить прочное, *родовое* основание пушкинскому журналу. За это я стою, как за мою мысль полезную, а прочее воля ваша» [1. С. 383].

Собственные литературные замыслы в переписке 1830–1841 гг. занимали скромное место. В 1829–1830 гг. Вяземский готовил к изданию перевод романа Б. Констан «Адольф», о котором сообщал другу 5 ноября 1829 г.: «Я перевел роман “Адольф”: хочется мне его печатать, будет от меня предисловие и посвятельное письмо к Пушкину. <...> Если мне удалось хорошо его перевести, то, право, дело немаловажное. Много труда. Поговори с Пушкиным: он вдался в доверенность книгопродавцов, и сводничество его должно быть успешно» [25. Л. 62]. 7 декабря 1829 г. Жуковский отвечал: «Я не знаю “Адольда” в оригинале, но рад буду познакомиться с ним в твоём переводе» [26. Л. 1]. Издание, однако, затормозилось, и холерной осенью 1830 г. Вяземский вспоминал, сообщая и о другом своем большом замысле – книге о Д.И. Фонвизине: «Победи свою лень и мою скуку: то есть прочти моего “Адольда” и напиши мне несколько слов о себе. Я весь в Фон-Визине и по поводу его комедии написал большую статью о нашем театре, которого нет» [1. С. 360] (26 октября). В конце концов «Адольф» вышел в свет в Петербурге в 1831 г. с посвящением А.С. Пушкину. Издателем выступил П.А. Плетнев, а корректуру держал Жуковский. Работа над монографией «Фон-Визин» заняла еще больше времени. В предисловии к первому изданию книги 1848 г. Вяземский сообщал: «По первоначальной смете, сочинение мое о Фон-Визине должно было ограничиться пределами статьи, то есть краткого введения к творениям его. От обстоятельств статья разрослась в книгу. Холера, свирепствовавшая в 1830 году, застигла и заперла меня с семейством в подмосковной моей. После первых опасений и беспокойств в виду роковой посетительницы, для развлечения и успокоения своего я почувствовал потребность в постоянном занятии. Фон-Визин явился мне тогда на помощь и в отраду» [27. С. VI]. Книга в целом была закончена к 1835 г., прошла цензуру и готовилась к печати, но в свет так и не вышла. О ее судьбе Вяземский периодически сообщал другу вплоть до 1848 г. [4. С. 180–185, 202–215].

Жуковский о своих литературных занятиях писал еще более лапидарно. Так, в начале июля 1831 г. Вяземский, наслышанный от А.С. Пушкина о совместном царскосельском уединении и об обилии творческих замыслов, просил: «Что твои стихотвор-

ческие припадки? Ты, сказывают, написал прелести. Пушкин писал мне, что только твоими стихами и можно утешаться в нынешнее грустное время. Пришли что-нибудь: дай и нам хоть чему-нибудь порадоваться из того, что у вас делается и пишется в Питере» [1. С. 361]. На это Жуковский в начале августа 1831 г. отозвался, подразумевая двухчастное издание «Баллад и повестей»: «Петр Андреевич, ты просишь от меня стихов! Нет, голубчик, переписывать скучно! Вся эта сволочь продана уже гуртом Смирдину и теперь печатается: думаю, что печатание через полтора месяца кончится; тогда получишь все в благопристойном виде» [11. С. 256]. Во время третьего заграничного путешествия, пребывая в Швейцарии, Жуковский просил друга 27 января / 8 февраля 1833 г.: «Я на досуге написал несколько стихов, то есть перевел; для *своего* нет еще довольно жизни в душе; но кое-что вертится в голове. <...> Я оставил у Плетнева все мои стихотворные рукописи. Там начал перевод “Монастыря” из Вальтера Скотта; я желал бы его здесь докончить и для того желал бы иметь начало. Попроси Плетнева списать это начало как можно мельче и прислать ко мне в письме. Там же есть начало перевода “Ундины” гекзаметрами, нельзя ли и его доставить» [2. Л. 37 об.]. Работа над переводом «Ундины» продлилась до 1836 г. («Я здоров; живу в прекрасном сельском месте; хочу приниматься за “Ундину” [28. Л. 85 об.], 22 июня 1836 г.), а его экземпляр Жуковский преподнес Вяземскому в начале марта 1837 г. с сопроводительной запиской: «Вот тебе “Ундина”, и с надписью. Да поможет сие твоим новым амурам» [2. Л. 60].

Отдельный любопытный эпизод поэтической жизни отразился в совместном письме Вяземского и А.С. Пушкина к Жуковскому от 26 марта / 7 апреля 1833 г. [29. Л. 17–20]. В него впервые с 1810-х гг. оказалось включено коллективное стихотворение «Надо помянуть, непременно помянуть надо...», которое совместно создавали весной И.П. Мятлев, А.С. Пушкин, П.А. и П.П. Вяземские. А.О. Смирнова вспоминала:

Гоголь давал своим героям имена все вздорные и бессмысленные... Он всегда читал в «Инвалиде» статью о приезжающих и отъезжающих. Это он научил Пушкина и Мятлева вычитывать в «Инвалиде», когда они писали памятки. У них уже была, напр<имер>, довольно длинная рацея:

Михаила Михайловича Сперанского
И почт-директора Ермоланского,
Апраксина Степана,
Большого болвана,
И князя Вяземского Петра,
Почти пьяного с утра.

Они давно искали рифм для Юсупова. Мятлев вбежал рано утром с восторгом: «Нашел, нашел»:

Князя Бориса Юсупова
И полковника Арапупова [30. С. 310–311].

Полностью это стихотворение до нас не дошло, но сохранившийся в письме к Жуковскому текст позволил И.Ю. Винницкому сделать интересные выводы о его связи с «партийно-групповой» семантикой и по-

лемиками 1820–1830-х гг. [31]. В ходе комментирования письма выяснилось, что почти все упоминаемые фамилии принадлежали реальным людям, что в совокупности создавало насыщенное поле отсылок к актуальным политическим, культурным, литературным и светско-бытовым феноменам и превращало произведение в шуточную хронику современности.

Хроникальный характер имели и многие письма Вяземского, сообщавшего периодически находившемуся в отъезде другу новости текущей литературной и светской жизни – женитьбы, помолвки, назначения, выход новых книг, эпизоды журнальных полемик (письма от 11–13/23–25 декабря 1832 г., от 29–30 января / 10–11 февраля и 14–15/26–27 апреля 1833 г., от 3 ноября 1837 г. [1. С. 364–370, 372–374, 381–383], от 8/20 апреля [25. Л. 65–66] и 17/29 августа 1840 г. [17. Л. 84–87 об.]). После переселения Жуковского в Германию это определило основной модус переписки. Она включила чуть менее 70 сохранившихся писем 1842–1852 гг., половину которых в свое время опубликовал М.И. Гиллельсон, по цензурным условиям вынужденный выпустить многие письма политического и религиозного содержания [32].

Оба корреспондента оказались на периферии деятельной общественной и литературной жизни, Жуковский из-за географической удаленности от России, а Вяземский из-за постепенного распада дружеского круга, составлявшего основу союза «литературной аристократии». Мотивы уединения или отстраненности постоянно сопровождали их эпистолярное общение. 9/21 февраля 1844 г. Жуковский писал другу: «Как мне ни хочется всех вас увидеть, но я желал бы остаться еще несколько времени так, как я теперь, ограниченный беззаботно огородам маленького моего дома, из-за которого выхожу только по необходимости и где мне так хорошо с женою, дочерью и с старым бородачом Гомером» [32. С. 44]. Домашнее уединение, семья и литературные занятия – все это и Вяземскому, обремененному служебными хлопотами, казалось идеалом, как в письме от 25 ноября / 7 декабря 1842 г.: «Постигаю твое счастье и благодарю Провидение, которое тебе его даровало. Тебе непременно должно было так дописать последние главы своей жизни. Дюссельдорф сливается прекрасными оттенками с Белевым. Промежуток есть блестящее и, отчасти, назидательное странствие Одиссея, из коего вышел ты героически чист и невредим – это прекрасно!» [32. С. 39]. В подобной ситуации, только с обратным знаком, оказался и Вяземский: «У кого семейство прибывает, а у нас все убывает, если не смертью, то самую жизнь, которая нас не соединяет, а разлучает. Мы теперь с женою совершенно одни доживаем свой век Филемоном и Бавкидою. Ты, вероятно, знаешь, что Валуевы в Варшаве на службе по назначению государя, а Павлуша по своему желанию и нашему в Константинополе при Титове. Слава богу, и они и он довольны своею участью, следовательно, и мы должны быть довольны своей скуке и своему одиночеству» [32. С. 42] (1/13 января 1844 г.).

Дистанция и уединенность способствовали размышлениям, у Жуковского поначалу сосредоточенным в эстетико-философской и нравственно-

религиозной сфере, а с 1848 г. – и в сфере политики и историософии; рефлексия Вяземского не имела столь программного характера, но отличалась быстрой и широкой реакцией на современные события государственной, общественной и литературной жизни. Домашние обстоятельства, малые происшествия в семейном кругу своей камерностью специфически обрамляли и завершали этот насыщенный диалог, питая его экзистенциальными мотивами, как в письме Жуковского от 2/14 июля 1847 г.:

Мы с тобой огрызки нашего особенного мира и валяемся далеко друг от друга на лице земли. Меня принял уютный уголок, в котором все для меня новое, но его все *мое* собственное, родное; им я отгорожен от пустующего мира, в котором жил до сих пор, и эта пустота не столько мне ощутительна, зато за мой теперешний живой забор не залетает воспоминание о прошедшем; оно здесь чужой гость. Тебе тяжело меня сносить такое запустение: много, много у тебя взяла жизнь, самые тяжкие опыты посетили твою душу, тем более тяжкие, что ты не охотник делиться своею ношею и тащишь ее молча на одних собственных плечах своих [33. Стб. 1070–1071].

Для Жуковского главными событиями стало рождение и воспитание дочери Александры и сына Павла, заботы о здоровье жены, подготовка и откладывание возвращения в Россию, переезд из Дюссельдорфа во Франкфурт-на-Майне, а затем побег от революции в Баден. Семейный круг Вяземского был шире, в него входили Валуевы, Карамзины, Мещерские, позднее семья сына Павла. Нередко письма князя строились как живые картины этой семейной панорамы, например, письмо от 25 ноября / 7 декабря – 1/13 декабря 1842 г. [32. С. 39–41] или зарисовка в письме от 1/13 января 1844 г.: «В день Нового года у Андрея Карамзина был *arbre de Noël*⁶ для детей Мещерских, на которое Александр Карамзин явился с семейством своим, то есть он провинциалом с *огромным* брюхом, *огромным* галстуком и *огромным* вычесанным тупе-ем. Александр Мещерский в женском платье женоу его и Рябинына их дочерью с раскрытыми плечами и грудью. Ты можешь представить себе все, что сцена эта имела смешного под предводительством Александра. И все в один голос говорили: «Жаль, что нет здесь Жуковского» [32. С. 42–43]. Свое место в описании домашней жизни занимали помолвки и женитьбы, рождение детей и внуков, подвиги и ранения (Ан.Н. Карамзин в 1844–1845 гг.), болезни и выздоровления, назначения на новые должности и отставки.

Конец 1840-х гг. принес Вяземским и горестное, и радостное событие. В 1848 г. П.П. Вяземский встретил свою любовь и создал семью, о чем отец с гордостью уведомлял Жуковского в письме от 18/30 октября – 22 октября / 3 ноября 1848 г.:

<...> наш Павлуша со вчерашнего дня, вероятно, уже супруг. Он женился, или женится на вдове Бек, урожденной Столыпной, которая заехала в Константинополь к сестре своей Голицыной и там нашла судьбу свою и судьбу нашего Павла. Она, говорят, красавица лицом и душою благонравная, благочестивая, воспитанная в семействе деда своего графа Мордвинова, недолго бывшая замужем за Бек, который умер, и в течение нескольких лет вдовства своего не возбудившая ни малейшего упрека, ни ма-

лейшего слуха о себе. Вот письмо Павлуши, уведомляющее нас о намерении его. Ты легко вообразишь, как оно должно было тронуть нас. Я принял эту весть с умилением и благодарностью как глагол, как знамение святого промысла и с полным упованием, что он благословит этот брак [32. С. 62].

Искренняя радость за сына вскоре, однако, оказалась омрачена внезапной смертью последней дочери Вяземских Марии Валуевой, об обстоятельствах которой князь рассказал другу в мрачном и насыщенном мистикой письме от 17–18/29–30 марта 1849 г.:

Что сказать мне от себя о себе, мой милый друг? Одно: что мы с женою живы и здоровы. Прочее поймешь без моих слов. Новая скорбь, которая поразила нас, грянула на нас, как гром <...> Я, между тем, себе дома преспокойно спал, <о>е<ст>е не совсем спокойно, потому что весь день неясная какая-то неотразимая тоска тяжелым камнем лежала у меня на сердце, но все-таки не приходило мне ни в голову, ни в сердце, что жестокий удар так близок и так неотразим – ночью во сне или между сном и бдением, точно не знаю, промелькнула мимо глаз моих женщина с черным платьем, обшитым плерезами, но и это видение (обыкновенно у меня перед сном мелькает разнообразная фантазмагория, и я к этому привык) не оставило во мне особенного впечатления. Несчастливая жена моя, возвратившись домой, должна была часа два ожидать пробуждения моего, готовясь встретить меня этою ужасною вестью. Вообрази себе ее положение. И человек все это выносит, не сходит с ума, сердце его не разрывается вдребезги. Добрая София говорит, что я принял и несу этот удар с христианскою покорностью. Не могу похвалиться этим. Бог не дал мне до того очиститься и возвыситься. Благодарение Ему, не чувствую ни отчаяния, ни ожесточения. Плачу, молюсь, но нет ничего животворного и плодоносного в слезах моих и молитвах. Во мне какое-то смирение забитого. Видны мои на будущее, свидание с Павлушей здесь в России или в Константинополе как-то не ясны и неосознательны для чувства моего. Ни в жизнь, ни во что живое верить не могу. Верую в одну смерть и одно мертвое и одних мертвых признаю своими. Это по моей части. А жизни и живых я недостоин или неспособен к ним. В жизни я чужой и не чувствую никакой силы, никакой воли располагать ею. На одном кладбище я дома и сознаю, что оно моя собственность, мое призвание, назначение мое. Ясное, существенное в жизни моей есть смерть детей моих. Все прочее в ней не имеет никакого смысла [25. Л. 124 об., 125 об.–126 об.].

Этот мрачный колорит определил последние годы общения с Жуковским, который, терзаясь от болезни жены, погружаясь в слепоту и тревожась о невозможности вернуться в Россию, сохранял твердость духа и стремился поддержать последнего своего душевно-го друга: «...я весьма надеюсь на твое выздоровление; болезнь твоя сидит в расстроенных нервах, которые чернят и окружающий тебя свет и твои мысли. Воюй крепко с этим врагом и не давай ему над тобою воли: сила воли есть самое верное лекарство против демонического действия нерв, и в то же время употребление воли есть гимнастика для души, ее целящая и укрепляющая» [34. Л. 49] (1/13 декабря 1851 г.). После смерти дочери Вяземские отправились в Константинополь на встречу с сыном Павлом, а затем посети-

ли Палестину, вернувшись в Россию осенью 1850 г. На это время переписка с Жуковским прервалась, а возобновившись, оказалась наполнена скепсисом и тяжелыми сожалениями: «Как я завидую светлости и бодрости духа твоего и твоим постоянным занятиям. Я никогда не был действительно деятелен, а теперь я совершенно вяну, если не совершенно увял. Нервы мои в жалком положении» [25. Л. 135–135 об.] (17/29 мая 1851 г.). Это нервное расстройство заставило отправиться во Францию на лечение, что совпало с переворотом Наполеона III и не принесло существенно-го облегчения: «Худо кончаю 1851 год – и, вероятно, худо начну и 1852. Но как кончу его и кончу ли? Или он меня до конца своего докончит? Вот вопросы, на которые нет теперь ответа. <...> Все во мне наглухо наколочено. По старой привычке, однако же, обнимаю тебя и желал бы согреться у груди твоей, в которой еще светится и теплится святой огонь. Помолись за меня» [32. С. 69] (30 декабря 1851 г. / 11 января 1852 г. – 1/13 января 1852 г.). Столь же горячим было и желание Жуковского, выраженное в последнем письме 45-летней переписки: «Поживем вместе и, бог даст, друг другу поможем. <...> Обнимаю тебя мыслями в надежде скоро прижать к сердцу руками» [34. Л. 55 об.] (25 марта / 6 апреля 1852 г.). К сожалению, встретиться друзьям уже не довелось.

Главным предметом литературных занятий Жуковского в 1840-е гг. стал перевод «Одиссеи», о котором он уведомлял друга едва ли не в каждом письме, что поначалу вызывало у Вяземского желание обратиться к более актуальным, по его мнению, темам – сохранению памяти своего литературного поколения («Признаюсь, по мне лучше было бы, если ты занялся чем-нибудь другим, например романом в прозе, записками, воспоминаниями своими о Карамзине, Дмитриеве. Тут могла бы войти вся общественная, литературная жизнь последнего пятидесятилетия» [32. С. 47], 21 марта / 2 апреля 1844 г.), но затем перешло в полное приятие. «Одиссея» мыслилась поэтом не только величественным посмертным памятником, но и прививкой современной словесности классического ясного мировосприятия и простого глубокого языка: «...полагаю, что мой перевод “Одиссеи”, мое лучшее, обработаннейшее произведение, будет моим народным памятником и в то же время внесет в нашу поэтическую литературу новый элемент, которого еще нет в ней, элемент классический, элемент простоты древней» [35. С. 125] (21 февраля / 5 марта 1845 г.).⁷ Из размышлений над различием античного и современного (христианского) отношения к миру выросла программная статья «О меланхолии в жизни и в поэзии», первоначально представлявшее огромное письмо к Вяземскому от 3–8/15–20 марта 1845 г. [2. Л. 94–102 об.]. Первоначальный же толчок дало высказывание князя в письме от 13–17/25–29 февраля 1845 г. с оценкой статьи Жуковского о поэзии Гомера, напечатанной в «Москвитяине» [37]:

Религия древности есть наслаждение: ему строили алтарь, и вся жизнь древних была служением ему. Религия наша – страдание, оно первое и последнее слово христианства на земле. Следовательно, с Евангелием должно было войти уныние в поэзию,

стихия, совершенно чуждая древнему миру, по крайней мере, в этом отношении. Не будь бессмертной души, не будет и сомнения, и тоски. Смерть тогда – сон без пробуждения, и прекрасно! О чем тут тосковать? Все уныние, вся тоска в том, что, засыпая, не знаешь, где и как проснешься, тоска в том, что на жизнь смотришь как на лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что вынется [25. Л. 90 об.].

За словами Вяземского стоял его трагический семейный опыт, смерть детей и ощущение непрочности земной жизни. Жуковский противопоставил этому чувству, которое назвал меланхолией, христианский стоицизм, предполагающий постоянную внутреннюю работу души по преодолению трагизма бытия:

Что такое меланхолия? Грустное состояние души, происходящее от *невозвратной* утраты, или уже совершившейся, или необходимо долженствующей совершиться. Причины меланхолии суть причины *внешние*, истекающие из всего того, что нас окружает и что на нас извне действует. *Скорбь* или *печаль* есть состояние души, тоимой внутреннею болезнью, из самой души истекающей; и хотя причины скорби могут быть внешние, но они, поразив душу, предадут ее ей самой, и скорбь в ней тогда так же присутственна, как и сама жизнь. *Меланхолия* питается извне; без внешнего влияния она исчезает. *Скорбь* питается изнутри, и если душа, ею томимая, не одолеет ее, то она обращается в уныние, ведущее, наконец, к отчаянию; если же, напротив, душа с нею сладит, то враг обращается в друга-союзника, и из расслабляющей душу силы (то есть силы этой скорби, ее гнетущей) вдруг рождается в ней великое могущество, удваивающее жизнь [2. Л. 94–94 об.].

Впоследствии эти идеи нашли продолжение в статье Жуковского «О внутренней христианской жизни», вызвавшей восхищение друга («Плетнев давал мне читать твою статью о внутренней христианской жизни. Завидую, то есть любуюсь настроением души твоей. Ты не только веруешь, но можешь объяснить себе веру свою и сделать ее предметом своих исследований» [25. Л. 135 об.], 17/29 мая 1851 г.), и в его письмах-утешениях от конца марта и 3/15 апреля 1849 г. [38. С. 234–246], написанных после смерти Марии Валуевой:

Во всем этом есть какой-то отеческий намек скрыться во глубину души от всего житейского и там час от часу более обрабатывать главное, мысль о Боге, – час от часу с нею сродняться, час от часу жить с нею уединеннее, независимее от того, что шумит и гудит кругом этого душевного приюта. Таково таинство земных страданий! Оно открывает нам вход в святую святых души нашей; их голос есть херувимская песнь жизни; в нем раздастся нам великое слово: всякое ныне житейское отложим попечение. И этот голос слышнее, когда кладем в землю наших милых [38. С. 240].

Вяземский даже в самые трагические моменты был глубоко погружен в перипетию общественной жизни. Его письма к Жуковскому отзывались на многие государственные начинания 1840-х гг., чаще всего осмысливаемые скептически по причине их непродуманности, бессистемности, властного произвола и незнания действительного положения вещей. В письме от 25 ноября / 7 декабря – 1/13 декабря 1842 г. [32. С. 39–41] такими предметами стали слухи о больших

налогах для граждан империи, живущих за границей, смена престарелого петербургского военного генерал-губернатора П.К. Эссена на А.А. Кавелина, который вскоре впал в сумасшествие и был отстранен от службы (см. письма от 12/24 апреля [39] и 17/29 мая 1846 г. [32. С. 54]), начальственный деспотизм главноуправляющего путями сообщения П.А. Клейнмихеля. В письме от 21 марта / 2 апреля 1844 г. негодование Вяземского вызвал указ от 15 марта 1844 г. «О дополнительных правилах на выдачу заграничных паспортов»: «Каждый видит, что меры пагубны, каждый говорит о том наедине, но ни один из них не имеет духа отойти от зла, идти в отставку и протестовать добросовестно и в истинном смысле верноподданнически – против направления, которое всех пугает. Никогда еще общее уныние не было так разительно и глубоко как ныне» [32. С. 48]. 30 августа / 11 сентября 1844 г. его беспокойство вызывали кавказские дела: «О Кавказе тоже положительного и достоверного не знаем. Правительство ничего не обнаруживает, а частные письма из отдельных отрядов не могут дать полное понятие. Вообще, кажется, ничего особенно дурного не было, но не было ничего и хорошего» [32. С. 49]. Позднее, 30 января / 11 февраля 1845 г. Вяземский сообщал свои сомнения по поводу назначения главнокомандующим на Кавказ М.С. Воронцова [32. С. 50–51]. Отсылка Жуковскому книги «Записок» С.А. Порошина 4/16 ноября 1844 г. вызвала пессимистическую констатацию князя: «Истории, преданий своих не знают, языка не знают, нравов, обычаев также, русского духа и разнюхать не могут. Для иного отечество его – департамент, министерство, для другого – и этот еще благодразумнее – его саратовская деревня, для некоторых – военная слава России. Но тут еще нигде нет отечества. <...> О смерти чиновника говорить будут с жаром и умилением, хотя со смертью его только и разницы, что мундир его впялят на другие плеча» [32. С. 50]. 5/17 мая 1845 г. Вяземский скептически оценивал назначение на пост министра финансов пожилого И.М. Ореуса: «Он человек умный, деловой и честный; но он стар и хвор, но в нем нет стихий государственного человека: все это производители текущих дел, а России потребны люди самостоятельные, люди с видами на будущее. Нигде этого нет» [17. Л. 105–105 об.]. Письмо от 21 апреля / 3 мая – 4/16 мая 1847 г. рисовало панораму распространившегося казнокрадства: «Все эти вдруг огласившиеся беспорядки очень огорчили государя; он сказал, что краснеет не только как русский император, но и как русский дворянин. <...> А, между тем, жадность к корысти, к прибыли сделалась повальною лихорадкою, всеувлекающим потоком. Общество духовно умерло, чувство личной независимости, личной гордости смято, убито: *мертвые срама не имут*» [32. С. 56]. 30 ноября / 12 декабря 1847 г. негодование Вяземского вызвал указ от 24 ноября 1847 г. «О предоставлении крестьянам имений, продающихся с публичных торгов за долги, право выкупать себя с землею»: «Сей закон может – и нет сомнений, что в некоторых местностях оно так и отзовется – потрясти сношения между помещиком и крестьянами и потрясти не с тем, чтобы из потрясения родился законный

порядок и законный переворот, а родится только беспорядок, который должно будет укрощать строгими мерами и наказаниями» [32. С. 59]. В письме от 12/24 мая 1848 г. князь скептически оценивал перспективы деятельности учрежденного секретного комитета по делам печати в лице Д.П. Бутурлина, М.А. Корфа и П.И. Дега [32. С. 59–60].

Между тем картина глубокого упадка государственной жизни, выраставшая из совокупности писем Вяземского, не подрывала его веру в саму страну, представлявшуюся самостоятельным организмом, существующим независимо от внешних и внутренних воздействий: «Россия – баба здоровая. То ли выдержать может? О ней нельзя сказать, что дух бодр, а плоть немощна. Нет, в ней и дух бодр, да и плоть хоть куда, закалена, залита медью. Ничем не проймешь ее, ни Наполеоном, ни Кавелиным. Стоит себе, да крепится и не унывает. Отрицательная ее сила, способности и ум неимоверны. Есть и действительные, но о них речь впереди» [39. С. 208] (12/24 апреля 1846 г.).

Революционные события 1848 г. подтолкнули и Вяземского, и Жуковского к приданию этой организмической метафоре нового идеологического смысла. Его определила, во-первых, семантика постоянства и устойчивости, результат удаленности не только от европейских смут, но и от европейских цивилизационных влияний, по Жуковскому, в основном религиозных, по Вяземскому, общественных, а во-вторых, разделение государства и нации, России-империи и Святой Руси, причем назначение самодержавия заключалось прежде всего в охране и консервации самобытного национального тела. В поэтической форме диалог Вяземского и Жуковского воплотился в перекличке стихотворений «Святая Русь» и «К русскому великану», к нему подключился и Ф.И. Тютчев, по своему отредактировавший текст Жуковского при публикации в «Санкт-Петербургских ведомостях», и дополнивший их собственным стихотворением «Море и утес»: «На другой день после чтения Тютчев принес нам несколько стихов, которыми дополнил он твои» [32. С. 61] (18/30 октября – 22 октября / 3 ноября 1848 г.). Публицистическую версию предложил Жуковский в письме от 23 июля / 5 августа 1848 г. [34. Л. 11–12 об.; 40. Л. 1–2, 6–8], преобразованном в статью «Письмо к князю П.А. Вяземскому о стихотворении “Святая Русь”» и опубликованном при посредничестве Вяземского и с цензурными сокращениями в «Русском инвалиде» (см. то же письмо князя [32. С. 61–63])⁸. Параллелью его идей выступили мысли Вяземского о вреде преобразований и сохранении консервативного курса, высказанные в письме от 12/24 мая 1848 г.:

У нас пока тихо и хорошо. <...> Русский Бог не Бог минуты. Ему надобно время, чтобы собраться с силами и надуматься. Он неповоротлив, а зато изворотлив, и когда окрепнет и примется за дело, то его с ног не собьешь. Не один 12-й год подтверждает это. Вся наша история и древняя и новейшая служит тому доказательством. Конечно, и у нас есть стихии беспорядка, но они очень незначительны в сравнении с плотною стихиею порядка, которая держится у нас и все поддерживает. Поэтому всякие попытки, всякие нововведения у нас, а особенно в настоящее

время, могут быть только вредны. Нам дана сила созревания. <...> Оставить бы русскую землю лет на десять под пар, было бы гораздо лучше. Злоупотребления, какие у нас есть, еще терпят [32. С. 60]⁹.

Подобная переоценка существенно изменила отношение Вяземского к европейским влияниям, образом которых он приводил другу, в частности, Великобританию в письме от 25 ноября / 7 декабря – 1/13 декабря 1842 г. [32. С. 39–41], и ослабила космополитический скепсис по отношению к примитивно понимаемому «патриотизму», выражавшийся в неоднократном одобрении жизни Жуковского за границей, но не сблизила со славянофилами, чья позиция представлялась мечтательной и схожей с преобразовательным волонтаризмом правительства:

Это враждебство новой школы к так называемому влиянию Запада похоже на нынешнее враждебство к нам пруссаков, которые простить нам не могут, что мы им помогли, выручили их, поставили на ноги. Неужели в них эта реакция – знамение внутренней силы, достоинства и благородной независимости? Нимало, а напротив, это малодушие, закоснение. Конечно, мы Западу многим обязаны. <...> Выдумывать какое-то новопросвещение на славянских началах, из славянских стихий смешно и нелепо. Да и где эти начала, эти стихии? Отказаться от того просвещения, которое имеем, в чаянии другого просвещения, которое будет более к нам приурочено, то же, что ломать дом, в котором мы кое-как уже обжились и обзавелись, потому что по каким-то преданиям, гаданиям, ворожейкам, где-то, в какой-то потаенной, заветной каменоломне должен непременно скрываться камень-самородок, из которого можно построить дивные палаты, перед которыми все нынешние дворцы будут казаться просто нужниками. Вот наши господа и ходят все кругом этого места, где, по их гаданиям и чутью, должен лежать этот клад: припевают, заговаривают, произносят разные заклятья и проклятья Западу, а все ничего осуществить не могут. Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли. Вот отчего и говорю, что эти отчаянные руссословы – более всего немцы и что коренная Русь, верно, их не понимает и не признает. Вот, например, Уваров, тот другое дело: он запряг себя в тройку самодержавие, православие и народность и дует по всем по трем. А они чего хотят? Право, не знаю, да и они знают не более моего [32. С. 57–58] (20 июля / 1 августа – 12/24 августа 1847 г.).

Сближала двух друзей и позиция в литературном процессе: наследники культуры дружеских сообществ, они не приняли обозначившуюся в 1840-е гг. группировку по идейной близости, по общности направления. Круг их литературного общения определялся личными связями, часто сложившимися еще в 1820–1830-е гг. Для Жуковского он был более ограничен: А.И. Тургенев и Н.В. Гоголь, подолгу гостившие в его доме, А.С. Хомяков, Ф.И. Тютчев и А.И. Кошелев, навещавшие его во Франкфурте и Бадене, П.А. Плетнев, наследник пушкинского журнала, И.В. Киреевский, возвратившийся к активной журнально-литературной деятельности, В.А. Соллогуб, породнившийся с Виельгорскими, переписка связывала его с С.С. Уваровым, А.С. Стурдзой, С.П. Шевыревым, Е.П. Ростопчиной. За жизненными перипетиями друзей-писателей Жуковский старался следить, обращаясь с соответствующими просьбами к

А.И. Тургеневу, А.Я. Булгакову, П.А. Плетневу, А.П. Елагиной. Так, сквозной нитью в переписке с Вяземским стала судьба Н.В. Гоголя. И новые произведения Жуковского печатались в основном из желания поддержать издания товарищей и часто по их личной просьбе, как в случае «Москвитянина» и постепенно хиреющего «Современника». Можно с полным правом сказать, что восприятие поэтом современной литературы было всецело персоналистично, завязано на конкретные индивидуальности. Знаменательно, что переписка с Вяземским, регулярно сообщавшим другу литературные новости, присылавшим свежие книги и журналы, не включила в себя почти никаких отзывов Жуковского на текущие полемики, будь то обсуждение «Мертвых душ» и «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя, идеи разnochинцев-демократов или судьбы славянофильства. Иногда же реакция друга и вовсе удивляла Вяземского, как случилось с восприятием «Тарантаса» В.А. Соллогуба:

Я очень удивился письму твоему Соллогубу о его «Тарантасе». Конечно, в нем есть остроумие и дарование, – но более всего подражания Гоголю и, следовательно, недостатка в оригинальности. Ты, кажется, подобно Дидероту, читаешь *свое* между строками печатанных книг и добавляешь и воссоздаешь автора по своему подобию. В Соллогубе до сей поры нет ничего самородного, самобытного, задушевного, и, зная его, нельзя и надеяться того и в будущем. Он довольно ловкий, с некоторою живостью, с некоторыми блесками французский фельетон. Все это, прошу тебя, между нами [32. С. 53] (17/29 ноября 1845 г.).

Вяземский дистанцировался от современной словесности не потому, что был, как товарищ, индифферентен к борьбе направлений, но потому, что не разделял их взгляды. Так, в письме от 17/29 мая 1846 г. он приводит слова В.Г. Белинского об изживании карамзинского направления и цитату из рецензии А.А. Григорьева о Лермонтове и Гоголе как представителях западного и славянского влияний, заключая: «Что сделалось с нашею литературою и что в ней делается, неимоверно. Нелепая анархия, подобная той, которая свирепствовала в Галиции, восстание невежества и мужиков, и все это не без вредного направления не в одном литературном отношении». Столь же неприемлемым оказалось для князя и наследие прежней «торговой словесности»: «Молчание в таком случае людей, имеющих право и, следовательно, обязанность говорить, есть прискорбный признак равнодушия нашего к отечественной литературе. Мы сами, удалившись от места действия и от непосредственного участия, виноваты в упадке ее. Мы без боя уступили поле Булгариным, Полевым и удивляемся и негодуем, что невежество и *свинтусы*, как говорит Гоголь, торжествуют» [32. С. 39] (21 ноября / 3 декабря 1842 г.). Впрочем, и новая консервативная журналистика не вызвала его сочувствия: «А хочешь ли знать, что о тебе говорится на святой и православной Руси? На, читай. Это извлечение из “Маяка”. Этот журнал ныне уже не издается и, как слышно, запрещен за излишнее свое православие. <...> Этот-то Бурачек и

кидает на вас, еретиков, громы православия» [39. С. 207] (12/24 апреля 1846 г.).

В этих условиях Вяземский воспринимал себя как представителя уходящего литературного поколения, интересующегося современной словесностью, но занятого в первую очередь мемориальной деятельностью. Пожалуй, единственным исключением здесь стала не законченная и не опубликованная при жизни статья о книге А. де Кюстина «La Russie en 1839»: «Я было написал довольно обширное и довольно удачное, — по свидетельству тех, которым прочел, — опровержение Кюстина и готовился отправить в Париж для напечатания. Но указ окатил меня холодного водою, и, вероятно, не решусь напечатать» [32. С. 48] (21 марта / 2 апреля 1844 г.)¹⁰. Схожую критическую реакцию вызвала у Вяземского и Жуковского и книга Н.И. Тургенева «Россия и русские», о которой они обменялись мнениями в письмах от 21 апреля / 3 мая — 4/16 мая [32. С. 55–57] и 2/14 июля — 21 июля / 2 августа 1847 г. [34. Л. 3–10 об.]. Эти всплески, однако, имели публицистический характер, ориентированный скорее на западное общественное мнение и репутацию России.

Вехами усилий Вяземского по сохранению памяти потомства стала подписка на сооружение памятника И.А. Крылову в 1844 г. (30 января / 11 февраля 1845 г. [32. С. 50–51]), для которой он подготовил объявление, содействие в открытии памятника Н.М. Карамзину в Симбирске в 1845 г. (17/29 ноября 1845 г. [32. С. 51–54]), участие в праздновании юбилея Д.Н. Блудова в 1851 г., где исполнялась его «Песня» (31 декабря 1850 г. / 12 января 1851 г. — 13/25 января 1851 г. [25. Л. 130–133 об.]). В свою очередь московские литераторы устроили Вяземскому 21 октября 1850 г. празднество после его возвращения из Палестины: «Вчера 21-го октября московские приятели, литераторы и дамы, праздновали меня обедом. Вероятно, провозгласят о том журналы, и ты все подробно узнаешь. А между тем тебе должно было икаться, и звенело в ушах твоих, потому что много речей было и о тебе» [44. Л. 8 об.] (18/30 октября — 25 октября / 6 ноября 1850 г.). Во многом такой же характер защиты от нападков критики представителей своего поколения представляла статья «Языков и Гоголь», опубликованная в «Санкт-Петербургских ведомостях» и вскоре посланная Жуковскому и Гоголю: «...не отвечаю пока и Гоголю, а передай ему, что, по-христиански, нет сомнения, что я слишком сурово напал в статье моей на тех, которые прежде восхваляли его, но в литературном и в житейском отношении, я полагаю, что я прав. Нужно было им и ему, Гоголю, сказать начисто правду. Все, что у нас было написано о Гоголе, нанесло вред и ему и общему мнению о литературе нашей» [32. С. 57] (18/30 июня 1847 г.).

Мало печатаясь сам, Вяземский стал активным посредником Жуковского в России — мимо его внимания не прошло ни одно произведение и замысел друга — стихотворные повести и сказки, которые должны были войти в последнее собрание его сочинений, поэмы «Наль и Дамаянты» и «Рустем и Зораб», высоко оцененные в письмах от 1–14 / 13–26 января 1844 г. и 20 июля / 1 августа — 12/24 августа 1847 г. [32. С. 41–

44, 57–58], политическая публицистика и религиозно-философская проза, собранная Жуковским в 1850 г. и предполагавшаяся к печати, но отозванная по цензурным соображениям, начало перевода «Илиады», перевод Нового завета, опыт создания целостного учебного курса для начального образования, наконец, поэма «Странствующий жид» и последняя поэтическая брошюра 1852 г. «Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским»: «Ах ты, мой старый лебедь, прашур лебедный, да когда же твой голос состарится? Он все свеж и звучен, как и прежде. Не грешно ли тебе дразнить меня своими песнями, меня, старую кукушку, которая день и ночь только кукует тоску свою. Стихи твои — прелесть» [45. С. 129] (20 февраля / 3 марта 1852 г.). Но, безусловно, венцом этой деятельности по увековечиванию памяти Жуковского стала помощь в подготовке его пятого собрания сочинений, в составлении, прохождении через цензуру, получении в России отпечатанных экземпляров. Эта издательская эпопея началась в 1847 г. и продолжалась до 1851 г., когда при содействии Вяземского и Плетнева, ходатайствовавших перед великим князем Александром Николаевичем и императором, отпечатанный тираж был куплен в казну, а полученные деньги обеспечили будущее семьи поэта.

На этот же период, 1847–1849 гг., пришлось и подготовка литературного юбилея Жуковского, призванного закрепить в сознании современников его роль патриарха русской литературы. Идея была высказана Вяземским и оказалась подхвачена министром просвещения С.С. Уваровым (см. письмо от 18/30 июня 1847 г. [32. С. 57]), дабы широко отпраздновать возвращение поэта в Россию. Жуковский ее принял, но высказал сомнение в точности времени своего приезда: «Для меня было бы душеуспокоительнее, когда бы этот акт воспоминания и благоволения отечества совершился в отсутствии моем — для меня было бы тогда одно чистое, не смешанное ни с какими тревогами самолюбия чувство благодарности» [34. Л. 5] (2/14 июля — 21 июля / 2 августа 1847 г.). Так и случилось. Жуковский не смог вернуться ни в 1848-м, ни в 1849 г., поэтому чествование не прошло официально: 29 января 1849 г. друзья-литераторы и великий князь Александр Николаевич собрались в доме Вяземского. К сожалению, не сохранилось письмо князя с описанием юбилея.

Но за невозможностью торжественного и официального празднества, — вспоминал впоследствии Вяземский, — друзья и близкие лица к Жуковскому отпраздновали сей день у меня домашним образом. Его императорское высочество государь наследник, ныне благополучно царствующий император, почтил милостивым присутствием своим это семейное торжество во изъявление сердечного сочувствия и уважения к бывшему своему наставнику. На этом вечере граф Блудов прочитал стихи, мною написанные по поводу юбилея; граф Михаил Вьельгорский пел куплеты мои на день рождения Жуковского; Михаил Глинка, тогда только что возвратившийся из-за границы, оживил музыкальную часть этого вечера [33. Стб. 1064].

Ответное письмо Жуковского от 19 февраля / 3 марта 1849 г. стало и гимном благодарности за ока-

занную честь, и провозглашением торжества дружеского над официальным:

Я в чистом выигрыше. Теперь не нужно *публичного* праздника, главный представитель отечества присутствовал на твоим *домашним* своим одобрением, и в этом одобрении присутствовали на нем все соотечественники *отсутственно*; *налицо* же были избранные, близкие, те именно, которых голос доходит непосредственно до слуха и сердца, которые стоят на первом плане отечества и жизни. И все это было *без меня*, то есть *без всякой* примеси для меня материального; мне достались одни свежие, благоуханные цветы сердечного наслаждения, в которые не замешался дурман самолюбия [32. С. 64–65].

Однако звучали в письме и ноты сожаления об ускользающем времени, превращающем старое поколение в отжившее и уходящее: «И для вас в этом отсутствии было что-то более поэтическое; такое торжество похоже на поминки, только не по мертвому, а по живому, которому его отсутствие придает какую-то идеальность, подливая каплю грусти по нем в пирную чашу веселья и давая живому, невидимому лицу его ту таинственность, какую получает для нас образ живущих за гробом» [32. С. 65].

История 45-летней дружбы не закончилась со смертью Жуковского. Вяземский более чем на четверть века пережил старшего друга, и постскриптом их отношений стало сохранение его наследия и памяти. Еще в 1830-е гг. в записных книжках Вяземский сформулировал принцип: «Это наше дело: мы можем собирать материал, а выводить результаты еще рано» [7. С. 205]. В 1850–1870-е гг., следуя ему, он подготовил и представил широкому читателю большой комплекс творческих и биографических документов Жуковского. Нельзя сказать, чтобы эти материалы укладывались в цельную панораму, они, как правило, подбирались на тот или иной случай, но старший друг неизменно представал в них образцом ушедшей в прошлое высокой культуры, человеком богатой души, разнообразным в своих проявлениях – от бытовых до творческих: «И тут не нужны воспоминания ярко определившиеся, – писал князь П.А. Бартенева в 1876 г., – не нужны следы, глубоко впечатлевшиеся в почву. Довольно безделицы, одного слова, одной строки, чтобы вызвать из нее полный образ, всего человека, все минувшее» [46. С. 249].

Эта деятельность началась вскоре после смерти друга. В 1855 г. Вяземский вошел в состав комитета, занимавшегося изданием неопубликованных, по преимуществу прозаических сочинений Жуковского. А.В. Никитенко записал в своем дневнике 18 октября 1855 г.: «Получил высочайшее повеление о назначении меня членом комитета под председательством Д.Н. Блудова для рассмотра посмертных сочинений Жуковского, которые хотят издать. Другие члены: Плетнев, князь Вяземский, Корф (Модест Андреевич) и Тютчев» [47. С. 423]. Работа продолжалась до 1857 г., когда вышли из печати четыре дополнительных тома (Т. 10–13) к девятитому последнему прижизненному изданию поэта, включившие в себя поздние поэтические произведения и переводы, политические статьи и очерки, религиозную прозу. Этим Вяземский выполнил намерение Жуковского в 1850 г.

опубликовать том своей прозы, произведения к которому были подготовлены, но отозваны автором из-за цензурных опасений. В 1856 г. князь принял участие в разработке проекта памятника на могиле друга, о чем А.В. Никитенко записал 3 июня: «Вечером в субботу приглашал меня к себе граф Блудов вместе с бароном Клодтом, князем Вяземским и Тютчевым для обсуждения проекта памятника, который собираются воздвигнуть на могиле Жуковского» [47. С. 443]. Открытие его состоялось 25 декабря 1857 г.

В 1866–1876 гг. в «Русском архиве» П.И. Бартенева Вяземский опубликовал многие материалы из наследия Жуковского, часто в сопровождении собственных комментариев. В 1866 г. под рубрикой «Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива» был напечатан большой комплекс писем и стихотворений, отложившихся в семейных бумагах: письма друзей от 1812 г., где регулярно упоминался Жуковский, находившийся в ополчении (№ 2. Стб. 217–254), разнообразные арзамасские материалы (№ 3. Стб. 473–489), письма Д.В. Дашкова 1813–1815 гг. (№ 3. Стб. 489–502), стихотворные послания Жуковского к Вяземскому и В.Л. Пушкину (№ 6. Стб. 863–873). Последние сопровождалось «объяснением», где поэт со своими «домашними» стихами противопоставлялся современному «реалистам»: «Впрочем поэт здесь отыскивается и в *почтовых* стихах. Вместе с поэтом отыскивается хладнокровный и дельный прозаик, тонкий и верный критик, грамматик, педагог, не только ценитель и судия содержания, но и строгий браковщик каждого выражения, придирчиво внимательный до мелочи к каждому отдельному слову. <...> В них Жуковский, поэт-мечтатель, поэт-идеалист, явился поэтом *реальным*, гораздо ранее эпохи процветания так называемой *реальной* или *натуральной* школы» [48. Стб. 873–874]. В следующем номере Вяземский представил материалы, относящиеся к подготовке 50-летнего юбилея литературной деятельности Жуковского: письма С.С. Уварова и П.А. Плетнева с проектом празднества и ответное письмо самого Жуковского (№ 7. Стб. 1065–1077). В конце 1867 г. благодаря князю был опубликован почти весь корпус писем Жуковского к великому князю Константину Николаевичу. В преамбуле Вяземский представлял читателю Жуковского – политического мыслителя, достойно предстоящего трону и чуждого какой бы то ни было сервильности: «В Жуковском доселе знали поэта и нравственно-чистого человека. <...> Но для многих могло быть неизвестным и даже невероятным, чтобы он так проникательно, так глубокомысленно мог обнимать и так верно оценивать события и важные вопросы, которые озвучивали и волновали современную жизнь. <...> Скажем и мы: дай бог для блага России поболее таких царедворцев, каковы были Кaramзин и Жуковский!» [49. Стб. 1386–1387]. В 1868 г. князь напечатал большое позднее письмо к нему поэта от 1851 г. как свидетельство напряженной творческой работы слепнувшего и пожилого человека: «В нем слышатся сердце его и умственная его деятельность. В то самое время, когда он переводил Новый Завет, он готовился и к переводу Илиады. Между тем и педагогические

труды шли своим чередом. И все это, когда уже накопившиеся года и, более или менее, физические немощи могли бы требовать от него отдохновения» [50. Стб. 436–437]. В следующих номерах Вяземский опубликовал письма Н.М. Карамзина к Жуковскому, снабдив их биографическими комментариями (№ 11. Стб. 1827–1836). Своеобразным постскриптумом к этой неустанной деятельности по сохранению памяти друга явились большие мемуарные статьи 1876 г., поводом для которых стала публикация П.И. Бартевым писем к Жуковскому разных лиц. И вновь поэт предстал под пером Вяземского лучшим воплощением высокого союза «литературной аристократии»: «Мы любили и уважали друг друга <...>, но мы и судили друг друга беспристрастно и строго, не по одной литературной деятельности, но и вообще. В этой нелюбимой, независимой дружбе и была сила и прелесть нашей связи. Мы уже были арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было» [46. С. 253]. Таким же защитником чести и свободы своих друзей Жуковский рисовался в следующем письме,

где речь шла об осуждении Н.И. Тургенева и судьбе А.И. Тургенева. Личные воспоминания Вяземского и выдержки из оправдательных записок, которые поэт подавал на высочайшее имя, вполне подтверждали независимость его мнений и смелость в отстаивании истины [46. С. 253–262]. С именем А.И. Тургенева оказалась связана и последняя биографическая статья князя «Жуковский в Париже. 1827 г.», где впервые были опубликованы выдержки из парижского дневника поэта и где он предстал в окружении напряженной литературной, общественной, интеллектуальной жизни Европы [51. С. 91–101].

Впрочем, даже смерть Вяземского не прервала диалог с другом – он продолжился с публикацией сочинений князя, куда вошли его послания к Жуковскому, критические статьи, где он упоминался, воспоминания о разных лицах из его окружения, записные книжки, в которых Жуковский – одно из самых частых имен, наконец, его неисчерпаемого эпистолярного наследия.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. о журнальных проектах Вяземского, связанных с его служебной деятельностью [4. С. 217; 5. С. 170–209].

² На это Жуковский иронически отозвался в письме от 23 августа 1831 г.: «У тебя всегда была хороша голова, а нынче стала хороша и жопа. Бант спереди, бант сзади: бей задом и передом» [2. Л. 59].

³ Паллиатив (фр.).

⁴ М.И. Гиллельсон предложил иное название – «пушкинский круг писателей» [13].

⁵ См. подробнее [23. С. 483–484].

⁶ Рождественская елка (фр.).

⁷ См. подробнее [36].

⁸ См. подробнее [41].

⁹ Ср. также в письме от 1–5 / 13–17 января 1849 г.: «Дай бог немцам и французам <...> опомниться и образумиться, чего не надеюсь, а нам, православным, сидеть смирно. В наше время нечего бояться отстать от других, напротив опасно гнаться за другими и догнать их. А многих наших все дергает не то чтобы вперед, а в сторону. Наши деятели думают, что дело только и состоит в вечных перестройках и переделках. А дело настоящее состоит в поддержке и соблюдении порядка. Порядок все сам собою исправит и обновит, что следует в свое время» [32. С. 63].

¹⁰ Статья была впервые опубликована в кн. [42. Р. 265–278]. Русский перевод см. [43].

ЛИТЕРАТУРА

1. Русский архив. 1900. № 3. С. 355–390.
2. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 195. Оп. 1. № 19096.
3. РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. № 21.
4. Гиллельсон М.И. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969. 391 с.
5. Акульшин П.В. П.А. Вяземский: Власть и общество в дореформенной России. М.: Памятники исторической мысли, 2001. 238 с.
6. Шукинский сборник. М.: Отд-ние Имп. Рос. ист. музея им. имп. Александра III – Музей П.И. Щукина, 1910. Т. 9. 453 с.
7. Вяземский П.А. Записные книжки (1813–1848). М.: Изд-во АН СССР, 1963. 513 с.
8. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Оп. 1а. Секретный архив. № 1911.
9. Kauchtschischwili N. L'Italia nella vita e nell'opera di P.A. Vjázemskij. Milano: Vita e Pensiero, 1964. 390 p.
10. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 1999–2019. Т. 1–16.
11. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М.: Изд. «Русского архива», 1895. 322 с.
12. РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 1. № 60.
13. Гиллельсон М.И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л.: Наука, 1977. 198 с.
14. Киселев В.С. «Вино, публичные девки и сарказмы против правительства...»: дело П.А. Вяземского 1828–1830 гг. по неопубликованным документам и переписке // Жуковский и другие: материалы Междунар. науч. чтений памяти Александра Сергеевича Янушкевича: К 75-летию со дня рождения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2020. С. 285–325.
15. Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение / публ., сост., предисл. и коммент. А.И. Рейтблата. М.: Новое литературное обозрение, 1998. 703 с.
16. Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. 465 с.
17. Рукописный отдел Института Русской литературы. № 27985.
18. Вацура В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины». Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М.: Книга, 1986. 385 с.
19. Самовер Н.В. «Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорфу...». Диалог В.А. Жуковского с Николаем I // Лица: Биографический альманах. М.: Феникс; Atheneum, 1995. Вып. 6. С. 87–119.
20. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.
21. Русский библиофил. 1912. № 7/8.
22. Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1907. Вып. 1. Отд. 2. С. 42–45.
23. Гиллельсон М.И. А.И. Тургенев и его литературное наследство // Тургенев А.И. Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 441–504.
24. Российская национальная библиотека (РНБ). Ф. 539. Оп. 2. № 378.
25. РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 2. № 20.
26. РНБ. Ф. 167. № 118.
27. Вяземский П.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. СПб.: Изд. гр. С.Д. Шереметева, 1878–1896.

28. РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 1909.
29. Семь автографов А.С. Пушкина. 1816–1837. Из собрания к. П.П. Вяземского. СПб. : Фотолитограф. Н. Индутаго, 1880. 24 л.
30. Смирнова-Россет А.О. Автобиография (неизданные материалы). М. : Мир, 1931. 364 с.
31. Виноцкий И.Ю. Нет Panzerbitter. Из истории русской коллективной поэзии конца XVIII – первой трети XIX века // Литературный факт. 2020. № 4 (18). С. 260–299.
32. Гиллельсон М.И. Переписка П.А. Вяземского и В.А. Жуковского (1842–1852) // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1979. Л. : Наука, 1980. С. 34–75.
33. Русский архив. 1866. № 7.
34. РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 1909в.
35. Русская литература. 1975. № 1. С. 124–126.
36. Киселев В.С., Янушкевич А.С. Эстетические принципы и поэтика перевода «Одиссеи» В.А. Жуковского // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2010. № 2 (10). С. 68–80.
37. Москвитянин. 1845. № 1. С. 37–42.
38. Старина и новизна. 1916. Кн. 20. С. 234–246.
39. Русская старина. 1902. № 10. С. 205–208.
40. РГАЛИ. Ф. 198. Оп. 1. № 62.
41. Киселев В.С., Владимирова Т.Л. Творческая история статьи В.А. Жуковского «Письмо к кн. П.А. Вяземскому о его стихотворении “Святая Русь”»: публикация и комментарий // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2014. № 3 (29). С. 109–124.
42. Cadot M. L'image de la Russie dans la vie intellectuelle française (1839–1856). Paris : Fayard, 1967. 642 p.
43. Невелел Г.А. де Кюстин и П.А. Вяземский // Теоретическая культурология и проблемы отечественной культуры. Брянск, 1992. С. 66–75.
44. РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 1250а.
45. Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1895 г. СПб. : Синодальная тип., 1898. 269 с.
46. Русский архив. 1876. № 2.
47. Никитенко А.В. Дневник : в 3 т. М. : ГИХЛ, 1955. Т. 1. 543 с.
48. Русский архив. 1866. № 6.
49. Русский архив. 1867. № 12.
50. Русский архив. 1868. № 3.
51. Русский архив. 1876. № 5.

Статья представлена научной редакцией «Филология» 5 октября 2021 г.

Pyotr Vyazemsky and Vasily Zhukovsky in 1830–1852: The History of Personal and Creative Relationships (Based on Correspondence)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2021, 473, 58–70.

DOI: 10.17223/15617793/473/8

Vitaly S. Kiselev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kv-uliss@mail.ru

Keywords: Pyotr Vyazemsky; Vasily Zhukovsky; correspondence; personal relationships; biography; creative relationships.

The research was conducted at Tomsk State University and supported by the Russian Science Foundation (RSF), Grant No.19-18-00083: Russian Epistolary Culture of the First Half of the 19th Century: Textology, Commentary, Publication.

The 45-year-long correspondence between Vyazemsky and Zhukovsky, which includes 437 surviving documents, is an indispensable part of the history of their personal relationships and of the epoch-making events of the time, of the development of Russian and European literature, of the context of social thought and ideological searches. Letters between Vyazemsky and Zhukovsky in 1830–1841 (before the latter left for Germany) are few (just over 60 letters) and rare, since they were mainly written during periods of the two correspondents' travels or separation. Despite the fact that the two writers continued to actively engage in literary activities and collaborated in periodicals, these topics in letters were covered much less than other life problems. Vyazemsky first found himself immersed in everyday bureaucratic service, the irony over which would not leave him even later, in the 1840s. Zhukovsky's home life was reflected in the correspondence rather sparingly. Vyazemsky's move to St. Petersburg contributed to the emergence of what became known as "literary aristocracy". The equal interest of the friends in the development of "high" literature, in the propaganda of European enlightenment did not cancel the difference in their temperaments: Vyazemsky became an active participant in *Literaturnaya Gazeta* and then *Sovremennik* as the author of journalistic and polemical materials; Zhukovsky, focused on the upbringing of Grand Duke Alexander Nikolaevich and almost stopped participating in journalistic activities, yet he was the "home" organizer of the life of the Pushkin circle – through his "Saturdays", which gathered St. Petersburg writers, through his ramified friendly contacts. Later correspondence included just under 70 surviving letters from 1842–1852. The correspondents found themselves at the periphery of the active social and literary life: Zhukovsky was geographically distant from Russia and Vyazemsky witnessed the gradual disintegration of the friendly circle that formed the basis of the alliance of "literary aristocracy". The motifs of solitude or detachment constantly accompanied the writers' epistolary communication. Distance and solitude encouraged reflections. Zhukovsky's reflections were first concentrated in the aesthetic-philosophical and moral-religious sphere, and since 1848 in the sphere of politics and historiography, Vyazemsky's reflections did not have such a flagship character, but were distinguished by a quick and broad reaction to the contemporary events of state, public, and literary life. The position in the literary process brought the two friends closer together: the heirs of the culture of friendly societies, they did not accept the idea of grouping by ideological proximity, by a common direction that emerged in the 1840s. The circle of their literary communication was determined by personal ties, which often developed back in the 1820s and 1830s. Under these conditions, Vyazemsky perceived himself as a representative of the outgoing literary generation, interested in contemporary literature, but primarily engaged in memorial activities.

REFERENCES

1. *Russkiy arkhiv*. (1900) 3. pp. 355–390.
2. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 195. List 1. No. 1909b.
3. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 198. List 2. No. 21.
4. Gillel'son, M.I. (1969) *Vyazemskiy. Zhizn' i tvorchestvo* [Vyazemsky. Life and art]. Leningrad: Nauka.
5. Akul'shin, P.V. (2001) *P.A. Vyazemskiy: Vlast' i obshchestvo v doreformennoy Rossii* [P.A. Vyazemsky: Power and Society in Pre-Reform Russia]. Moscow: Pamyatniki istoricheskoy mysli.

6. Anon. (1910) *Shchukinskiy sbornik* [Shchukin collection]. Vol. 9. Moscow: Otd-nie Imp. Ros. ist. muzeya im. imp. Aleksandra III – Muzei P.I. Shchukina.
7. Vyazemskiy, P.A. (1963) *Zapisnye knizhki (1813–1848)* [Notebooks (1813–1848)]. Moscow: USSR AS.
8. State Archive of the Russian Federation (GARF). Fund 109. List 1a. *Sekretnyy arkhiv* [Secret archive]. No. 1911.
9. Kauchtschischwili, N. (1964) *L'Italia nella vita e nell'opera di P.A. Vjâzëmskiy*. Milano: Vita e Pensiero.
10. Zhukovskiy, V.A. (1999–2019) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 20 t.* [Complete works and letters: in 20 volumes]. Vols 1–16. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
11. Zhukovskiy, V.A. (1895) *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k Aleksandru Ivanovichu Turgenevu* [Letters from V.A. Zhukovsky to Alexander Ivanovich Turgenev]. Moscow: Izd. "Russkogo arkhiva".
12. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 198. List 1. No. 60.
13. Gillel'son, M.I. (1977) *Ot arzamasskogo bratstva k pushkinskomu krugu pisateley* [From the Arzamas brotherhood to the Pushkin circle of writers]. Leningrad: Nauka.
14. Kiselev, V.S. (2020) ["*Wine, girls of easy virtue, and sarcasms against the government ...*": the 1828–1830 case of P.A. Vyazemsky according to unpublished documents and correspondence]. *Zhukovskiy i drugie* [Zhukovsky and others]. Proceedings of the International Readings in Memory of Alexander Sergeevich Yanushkevich. Tomsk: Tomsk State University. pp. 285–325. (In Russian).
15. Reytblat, A.I. (1998) *Vidok Figlyarin: Pis'ma i agenturnye zapiski F.V. Bulgarina v III otdelenie* [Vidok Figlyarin: Letters and secret notes of F.V. Bulgarin to the III Department]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
16. Vyazemskiy, P.A. (1984) *Estetika i literaturnaya kritika* [Aesthetics and literary criticism]. Moscow: Iskusstvo.
17. *Rukopisnyy otdel Instituta Russkoy literatury* [Manuscript Department of the Institute of Russian Literature]. No. 27985.
18. Vatsuro, V.E. & Gillel'son, M.I. (1986) *Skvoz' "umstvennye plotiny". Ocherki o knigakh i presse pushkinskoy pory* [Through "mental dams". Essays on books and the press of Pushkin's time]. Moscow: Kniga.
19. Samover, N.V. (1995) "Ne mogu pokorit' sebya ni Bulgarinym, ni dazhe Benckendorfu...". Dialog V.A. Zhukovskogo s Nikolaem I ["I can subjugate myself neither to Bulgarin, nor even to Benckendorff ..."]. V.A. Zhukovsky's dialogue with Nicholas I]. In: *Litsa: Biograficheskiy al'manakh* [Persons: Biographical Almanac]. Vol. 6. Moscow: Feniks; Atheneum. pp. 87–119.
20. Gogol', N.V. (1937–1952) *Polnoe sobranie sochineniy: v 14 t.* [Complete Works: in 14 vols]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
21. *Russkiy bibliofil*. (1912) 7/8.
22. Veselovskiy, A.N. & Sobolevskiy, A.I. (eds) (1907) *Pamyati V.A. Zhukovskogo i N.V. Gogolya* [In memory of V.A. Zhukovsky and N.V. Gogol]. Vol. 1 (2). Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences. pp. 42–45.
23. Gillel'son, M.I. (1964) A.I. Turgenev i ego literaturnoe nasledstvo [Turgenev and his literary heritage]. In: Turgenev A.I. *Khronika russkogo. Dnevnik (1825–1826 gg.)* [Chronicle of a Russian. Diaries (1825–1826)]. Moscow; Leningrad: Nauka. pp. 441–504.
24. National Library of Russia (RNB). Fund 539. List 2. No. 378.
25. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 198. List 2. No. 20.
26. National Library of Russia (RNB). Fund 167. No. 118.
27. Vyazemskiy, P.A. (1878–1896) *Polnoe sobranie sochineniy: v 12 t.* [Complete Works: in 12 volumes]. Saint Petersburg: Izd. gr. S.D. Sheremeteva.
28. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 195. List 1. No. 1909.
29. Pushkin, A.S. (1880) *Sem' avtografov A.S. Pushkina. 1816–1837. Iz sobraniya k. P.P. Vyazemskogo* [Seven autographs of A.S. Pushkin. 1816–1837. From the collection of P.P. Vyazemsky]. Saint Petersburg: Fotolitogr. N. Indutnogo.
30. Smirnova-Rosset, A.O. (1931) *Avtobiografiya (neizdannye materialy)* [Autobiography (unpublished materials)]. Moscow: Mir.
31. Vinititskiy, I.Yu. (2020) Herr Panzerbitter: An Episode From the History of Russian Collaborative Poetry From the Late 18th Through the First Third of the 19th Century. *Literaturnyy fakt – Literary Fact*. 4 (18). pp. 260–299. (In Russian).
32. Gillel'son, M.I. (1980) *Perepiska P.A. Vyazemskogo i V.A. Zhukovskogo (1842–1852)* [Correspondence between P.A. Vyazemsky and V.A. Zhukovsky (1842–1852)]. In: Likhachev, D.S. (ed.) *Pamyatniki kul'tury: Noveye otkrytiya. Ezhegodnik 1979* [Monuments of Culture: New Discoveries. Yearbook of 1979]. Leningrad: Nauka. pp. 34–75.
33. *Russkiy arkhiv*. (1866) 7.
34. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 195. List 1. No. 1909v.
35. *Russkaya literatura*. (1975) 1. pp. 124–126.
36. Kiselev, V.S. & Yanushkevich, A.S. (2010) Aesthetic principles and poetics of the translation of The Odyssey by V.A. Zhukovsky. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 2 (10). pp. 68–80. (In Russian).
37. *Moskvityanin*. (1845) 1. pp. 37–42.
38. *Starina i novizna*. (1916) 20. pp. 234–246.
39. *Russkaya starina*. (1902) 10. pp. 205–208.
40. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 198. List 1. No. 62.
41. Kiselev, V.S. & Vladimirova, T.L. (2014) The Creative History of V.A. Zhukovsky's Article "Letter to Prince P.A. Vyazemsky About His Poem Holy Russia": Publication and Commentary. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 3 (29). pp. 109–124. (In Russian).
42. Cadot, M. (1967) *L'image de la Russie dans la vie intellectuelle française (1839–1856)*. Paris: Fayard.
43. Nevelev, G.A. (1992) A. de Kyustin i P.A. Vyazemskiy [A. de Custine and P.A. Vyazemsky]. In: Nevelev, G.A. (ed.) *Teoreticheskaya kul'turologiya i problemy otechestvennoy kul'tury* [Theoretical cultural studies and problems of national culture]. Bryansk. pp. 66–75.
44. Russian State Archive of Literature and Art (RGALI). Fund 195. List 1. No. 1250a.
45. Imperial Public Library. (1898) *Otchet Imperatorskoy Publichnoy biblioteki za 1895 g.* [Report of the Imperial Public Library for 1895]. Saint Petersburg: Sinodal'naya tip.
46. *Russkiy arkhiv*. (1876) 2.
47. Nikitenko, A.V. (1955) *Dnevnik: v 3 t.* [Diary: in 3 vols]. Vol. 1. Moscow: GIKhL.
48. *Russkiy arkhiv*. (1866) 6.
49. *Russkiy arkhiv*. (1867) 12.
50. *Russkiy arkhiv*. (1868) 3.
51. *Russkiy arkhiv*. (1876) 5.

Received: 05 October 2021